МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

Ты будешь жить

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Он — Паша-лев. Прозвище это он дал сам себе, никто больше его так не называет, но львиную сущность Паши сознают и принимают меры к укрощению. У Паши своя мифология, да, похоже, и все у него свое. Он не дрожит перед авторитетами… Маленький самоуверенный всезнайка и наглец».

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Паша-лев

Рассказ

Этот бледный рыжеволосый худенький мальчик с зелеными глазами и навощенной горбинкой носа, нервный, хрупкий грозной хрупкостью Мандельштама, грассирующий, словно в горле у него вибрирует горошина, удачно существует в собственном мире, где и проводит большую часть времени, и крайне неудачно в мире внешнем, упорно отторгающем его. Во дворе и в школе его дразнят «жиденком», даже тихие интеллигентные дети, чуждые каких-либо расовых предрассудков, присоединяются к хору дразнил, ибо в его пародийной внешности и раскатистом «р», переходящем в «г», есть что-то вызывающее и бесстыдное. Но сильнее всего заводит мальчишек его неизменная яростная вспышка в ответ на прозвище, вспышка, которую он не может удержать, сколько бы врагов его ни окружало. Более проницательные мальчики догадываются, что он и не хочет сдерживать себя, хотя отлично знает, чем это кончится. У Паши, так зовут рыжего картавого мальчика, ответ на оскорбление не задерживается: он тут же бьет в рыло. Правда, если обидчик младше его, Паша заменяет удар каким-нибудь унизительным наказанием: зажимает его голову между ног и дает шлепка или делает «вселенскую смазь» — большим пальцем через все темечко. Но однолеток и старших по возрасту бьет в рыло, не в скулу, не в челюсть, не в лоб, не в глаз, а именно в рыло. В ответ Пашу бьют куда ни попало, а он лишь беспомощно отбивается. Паша вовсе не слабак, он так старательно и безжалостно тренирует свое хилое тело, что накопил какие-то мускулишки, к тому же он ловок, стоек и на редкость терпелив к боли. Но он всегда имеет дело с превосходящими силами. Бить Пашу скопом считается в порядке вещей, иначе с ним не справиться. Ведь он Паша-лев. Прозвище это он дал сам себе, никто больше его так не называет, но львиную сущность Паши сознают и принимают меры к укрощению.

Представляясь, он так и называет себя: Паша-лев, а потом начинает смеяться. Он как-то странно смеется, не поймешь, над самим собой или по-мандельштамовски — над изначальной нелепостью бытия. Любопытно, что мне снова попадается на перо

Мандельштам, в этом имени — незащищенность и вечность, первое, несомненно, применимо к Паше, неужели в нем проглядывает и второе?.. Кстати, Мандельштам его любимейший поэт. Когда два года назад ему прочли воронежские стихи, он наморщил лоб и сказал: «А я знал, что такой поэт должен быть». Почти то же самое он сказал, познакомившись с творчеством Клее: «Я так и знал! Уверен был, что кто-нибудь так уже рисует».

— Что ты имеешь в виду, Паша?

— Он рисует, как хотел рисовать я. Но он опередил меня, — без всякой рисовки ответил Паша. — Пока я тут валандаюсь, меня все обгоняют. О моих рисунках в… (тут он назвал журнал, сострадающий природе, где несколько раз помещали его графику) говорят, что это вылитый Макс Эрнст. Ну, вылитый — едва ли, я никогда не видел его работ, но, наверное, похоже. Если б не было Макса Эрнста, им стал бы я. А так еще неизвестно, смогу ли я стать кем-нибудь другим.

Как страшно: люди все-таки заменимы. Ученик мог бы стать учителем, если бы первого не было, последователь — предтечей.

— Постой, Паша! Выходит, нечего благодарить Творца, что он создал Пикассо, Кандинского, Врубеля, Шагала? Не будь их, то же сделали бы другие?

— А откуда вы знаете, сколько других Пикассо, Врубелей, Татлиных, Шагалов умерло в детстве, погибло на войне, в лагерях? А иные просто не догадались о себе и сгинули, ничего не создав, или отчаялись пробиться. Мы очень жалеем о них?

Пикассо уже был, поэтому другой Пикассо стал Браком, а мог бы стать тем первым. Тогда Браком стал Пунин или Зигмунд Кочевряжский.

— Кто такой Кочевряжский?

— Никто. Хотите — Блез Шанталь, Аллен Занфан.

— Не ломайся. Это ужасная теория. Отдает фашизмом.

Казалось, веснушки осыпаются с побледневшей кожи.

— Я ненавижу фашизм!.. Но почему?..

— Если уж о Пикассо и Шагале нечего жалеть, то что говорить о простых смертных? Убивай, режь, жги — появятся другие, ничуть не хуже, а и хуже — не беда. Это фашизм.

— Но ведь мы так и живем! — Маленькое лицо совсем перекосилось. — Никому никого не жалко, даже самих себя. Неужели нельзя людям объяснить, что быть фашистом гадко?

— А можно объяснить тигру-людоеду, что жрать людей гадко? Он так не считает. И ему не в пример, что все остальные тигры воздерживаются от человечины. Кровоядца остановишь только пулей.

— Правильно, — убежденно сказал Паша, — так и надо.

— Это не для тебя, Паша. Не твое.

— Я — лев.

— Ты очень слабенький лев, а связываешься с очень сильными шакалами.

— Я сейчас сильнее, чем был, и стану еще сильнее, когда вырасту.

— Если вырастешь.

Он засмеялся своим беззащитным, немного сумасшедшим смехом.

— Вы думаете, меня убьют раньше?

— Если не образумишься.

— Когда я был маленький, мама рассказывала, что Ахиллеса спросили: хочет он жить долго, но бесславно, или коротко, но со славой? Он сразу ответил: коротко. Он был совсем молодым, когда погиб от стрелы Париса.

— Погибнуть от стрелы Париса — куда ни шло, но погибнуть от хорошо заточенного напильника какого-нибудь подонка — противно.

— А Парис тоже был подонком, — задумчиво сказал Паша. — Увел жену у бедняги Менелая. Тот голый бежал за ними до пристани, а прохожие улюлюкали. На войне Парис не кидался на врага, а стрелял издали из лука. Не то что его старший брат Гектор. Вот герой из героев!

— Как, не Ахиллес?

Паша энергично замотал головой:

— Он был неуязвим, кроме пятки, — хорош героизм!

— А Гомер славит его как величайшего героя Троянской войны. Гектор от него бежал.

— Гомер был грек и врал, как грек, в пользу греков.

— А Марина Цветаева? «Ахеи лучший муж…»

— Так — Ахеи! Конечно, лучший. Троя не Ахея.

— Ты трудный спорщик. Умеешь цепляться к словам. А почему она хотела соединить Елену с Ахиллесом, а не с Гектором?

— Как почему? Гектор был женат и любил Андромаху.

— Но Цветаева и сама была влюблена в Ахиллеса.

— В порядке вещей. И так по-женски, — сказал тринадцатилетний мудрец. — А Гектор — это то, что женщины больше всего ненавидят: верный муж, влюбленный в собственную жену. Он даже Елену не заметил, когда Парис ее привез. Троил — младший брат — сразу влюбился, а Гектору взгляд коровьих глаз Андромахи был куда милее всех прелестей «сладостнейшей Спарты».

У Паши была своя мифология, да, похоже, и все было у него

свое. Он не дрожал перед авторитетами. И сколько апломба! Мне вдруг захотелось дать ему подзатыльник. Как же он должен раздражать своих сверстников, если у старого, усталого, покладистого человека зачесались руки! Маленький самоуверенный всезнайка и наглец — вот в чем его проблема. Но что-то мешало примириться с этим выводом. Он не задавался и не форсил. Он не сознавал, что для своих лет, а тем более для лицея, в котором безмятежно расцветает, он знает слишком много, и отнюдь не гордился этим. У немцев есть презрительное определение: «бюхервурм». Но он не книжный червь, ибо многое знает со слуха, по разговорам окружающих, по материнским рассказам, а не из книжных страниц. Он все время слышит мир, видит мир и находится с ним в постоянном обмене. Конечно, он много читает, но дело не в количестве прочитанного, а в том, что оно становится для него живым, как природа, прорастает в его вещество. Его рисунки — это не обычный радостный детский отзыв окружающему, а размышление над ним. Бюхервурм отгорожен от действительности, Паша-лев в острейших с ней отношениях.

«Он живой и светится» — придумал мой покойный друг о светлячке. До чего же подходят эти слова к мальчику с зелеными глазами, светящимися то из багровых, то из лиловых и, наконец, из желто-синих фингалов!

Я задумался о его родителях. Каково им? Что ни день сын возвращается домой избитый. В том повальном и возрастающем озлоблении, которое охватило нашу среду обитания, все может кончиться трагически. А они и в ус себе не дуют. Живут, работают, ходят в гости, в театры, сами принимают друзей, куда-то ездят. Что за этим — не мне судить, я их совсем не знаю. Говорят, что они обожают своего сына. Но видимо, не считают возможным в чем-либо ограничивать его свободу, право выбора.

И в клетке можно родиться свободным. Так случилось с Пашей. Родители берегут его тонкую душу и чувство собственного достоинства, с ними ему не нужно бороться, а внешнему миру Паша дает в рыло. Так что же Паша — подопытный кролик природы, желающей узнать, что будет с такой особью в условиях крайнего неблагоприятствования всему, что составляет его суть: чувству чести и гордости, благородству, бесстрашию, самостоятельности мнений и выражения себя в словах, поведении, поступках, в творчестве? Да, я не боюсь сказать столь высокое слово. Пашины рисунки — это творчество. Я и заинтересовался им по его рисункам. И тогда меня удивило, что на всех автопортретах юного художника, у которого жадный пушкинский интерес к собственному облику, то под левым, то

под правым глазом — черное пятнышко. Когда я увидел Пашу-льва, то понял, что он отнюдь не преувеличивает на рисунках своих увечий, фингалы расплываются в половину худенького лица, но Паша не хочет провоцировать жалость к себе и вместе с тем остается верен правде: подбитый глаз — его фирменный знак и потому обязан быть на автопортрете.

А потом я познакомился с самим Пашей, и состоялся тот разговор, который приводится в начале, и другие разговоры, и во мне все нарастало чувство тревоги за мальчика, такого смелого и такого незащищенного. И невольно я стал выискивать в разговоре с ним что-то такое, что дало бы ему если уж не защиту, то хотя бы опору в превратной судьбе. При всей своей ребячливости он сильно опережал свой возраст и мог бы иметь друзей куда старше себя, способных взять над ним опеку. Но Паша не оставил мне тут никаких надежд. У него было всего два друга — Давлик двенадцати лет и десятилетний Гундик. Паша их очень любит.

— За что ты их так любишь?

— Они не дразнятся.

Ах вот что!.. Да, эти мальчики не станут дразниться.

— Какие странные у них имена. Давлик — наверное, Давид, а Гундик?.. Или это клички?

— Не знаю. Я их сам выдумал.

— А они откликаются?

— Попробуй не откликнуться!.. Вы меня не поняли, — вдруг спохватился он. — Я не имена придумал, а их самих.

— Зачем?

— С ними интересно. Я их защищаю, как лев. И знаете, гораздо удачнее, чем самого себя. Они любят то, что и я люблю: читать, рисовать, танцевать ламбаду и Мандельштама. А я люблю, что они любят.

— А что они любят?

— Мороженое и орехи. Гундик еще любит черный изюм, а Давлик — песню Сольвейг.

— А какие они из себя?

— У Давлика ужасно большой, длинный нос, он ходит всегда с подставкой для носа, иначе тот перевесит. А у Гундика огромные уши. Когда он ими хлопает, звенит люстра. Я их вам покажу.

Он положил передо мной два рисунка. Все так и было: чудовищный нос Давлика покоился на треноге, а у Гундика были слоновьи уши. Это подсказало угадку: Паша скроил их из смешного индийского божка Ганеши — мальчика с головой слоненка. И я подумал: в каком страшном одиночестве возникли эти маленькие чудовища — друзья Паши-льва!

И опять мысль скользнула к родителям Паши. Почему они безучастны к гибельным играм сына? А что тут сделаешь? На чужой роток не навесишь замок. Пришить его к материнской юбке — стыдно. Пытаться сломать характер, сделать из него тихоню, раба, из льва — трусливую шавку? Они, видать, тоже гордые люди. Иначе и Паша не стал бы львом. Есть один выход — увезти.

Оказывается, путь, открытый Давлику и Гундику, заказан Паше. Он обречен этой земле. Это выяснилось, когда при новой встрече я спросил его:

— Все ратоборствуешь за малые народы?

— Какие малые народы? — не понял Паша и наморщил лоб. — Ах вот вы о чем! Я ратоборствую за большой народ. Я вообще ужасный националист. По-моему, лучше России нет на свете. И дураки, которые орут, дразнятся, унижают ее. А за Россию — в рыло! Что поделаешь, — вздохнул он, — кровь предков.

Паша принадлежит к стариннейшему княжескому роду, идущему от легендарного Гедимина и прочно вписавшему свое громкое имя в историю России. Он Гедиминович по отцу. А по матери — вовсе Рюрикович. Наверное, древности своего рода обязан он сходством с расхожим типом древнейшего на земле народа. Это не вырождение, а утонченность, полное очищение генотипа от того, что заложил в него наш косматый предок.